# Обетованная планета

# Роберт Франклин Янг

«*Европейский проект» был выдающимся предприятием. Он был результатом многочисленных попыток группы замечательных людей, которые были хорошо знакомы с трагической историей таких стран как Чехословакия, Литва, Румыния и Польша, стран, чье непосредственное соседство с агрессивной имперской нацией лишило их права на естественное развитие. «Европейский проект» возвращал им это право, предоставляя им звезды. Далекая планета находилась довольно далеко от каждой из втоптанных в грязь и униженных наций, и космические корабли стартовали в Новую Чехословакию, Новую Литву, Новую Румынию и Новую Польшу, унося туда истосковавшихся по земле, богобоязненных крестьян. И на этот раз эмигранты находили ждущие их безмолвные водоемы и зеленые пастбища вместо взрывающихся от метана угольных шахт, которые их соотечественники много веков назад нашли в другой обетованной земле.*

*Во всей этой операции был лишь единственный казус: один из космических кораблей, перевозящих колонистов в Новую Польшу, так и не достиг своего места назначения...*

Исторический обзор;

том 16, «Летопись Земли»

(Архив Истории Галактики)

Тихо падал мягкий снег, и сквозь него Рестон смог различить желтые прямоугольники света, которые были окнами здания общины. До него доносились звуки гармошки, наигрывавшей «*О мойя дивчина майе ноги».* «Моя девушка моет свои ноги», подумал он, подсознательно переходя к своему полузабытому родному языку; моет их здесь, в *Нова Полска*, точно так же, как мыла их давным-давно на Земле.

В этой мысли была какая-то теплота, и Рестон удовлетворенно отвернулся от окна своего кабинета и прошел через пространство маленькой комнаты к обыденным удовольствиям, заключавшимся в любимом кресле и трубке. Скоро, и он хорошо знал это, один из мальчишек пробежит по нападавшему снегу и постучит в его дверь, принеся самые отборные кушанья со свадебного стола: возможно, там будет *колбаса,* и *колобки,* и *пироги,* и даже *колбаски.* А затем, уже поздним вечером, придет и сам конюх, прихватив с собой *водку,* и с ним будет его невеста, и он будет пить водку вместе с Рестоном в теплой комнате, и белый вездесущий снег, возможно, все еще будет падать, а если он прекратится, то звезды, яркие и мерцающие, будут видны на небе над *Нова Полска.*

Это была хорошая жизнь, временами трудная, но вполне оправдывающая себя в свои наиболее приятные минуты. Будучи в преклонном возрасте, Рестон уже добился всего, чего хотел, а больше всего он ценил простые вещи, которые, в конечном счете, хочет получить любой человек; и если он, время от времени, испытывал необходимость искренне пообщаться с кем-то, для того, чтобы смягчить периодически накатывающуюся печаль, он никого не обижал этим, а лишь приносил успокоение самому себе. В шестьдесят лет он был если не счастливым, то вполне удовлетворенным человеком.

Но удовлетворение пришло к нему не в одночасье. Оно было взращено годами и было косвенным результатом принятия им определенного образа жизни, который обстоятельства и общество возложили на него...

Неожиданно он встал с кресла и вновь прошел к окну. В этой вечерней минуте была некая особенность, которую он не хотел упустить: и успокаивающие желтые квадраты окон здания общины были неотъемлемой частью этого, и ритмичная мелодия гармошки, и тихо падающий снег...

Снег падал и в ту ночь, почти сорок лет назад, когда Рестон посадил корабль с эмигрантами, но падал не так мягко и тихо, а с ледяной яростью, хлопья были твердыми и острыми, и неслись с сильным северным ветром, кусая и жаля лица небольшой кучки переселенцев, сбившихся под укрытием медленно разваливающегося на части корабля, и столь же немилосердно кусая и жаля лицо Рестона, хотя он едва замечал это. Он был слишком занят, чтобы замечать это...

Занят тем, что собирал в одно место всех своих пассажиров, а затем поторапливал женщин побыстрее убраться из опасной зоны, и расставлял мужчин на разгрузку припасов и оборудования из корабельного трюма, используя вместо слов знаки и жесты, потому что не мог говорить на их языке. Вскоре, когда трюм опустел, он стал руководить строительством временного убежища, закрытого от ветров отрогом холма; а затем взобрался на вершину холма и стоял там на жестоком ветру и в безумно кружащемся снеге, наблюдая, как умирал его корабль, ошеломленный тем, что, похоже, проведет свою оставшуюся жизнь в иностранной колонии, состоящей сейчас из молодых, только что поженившихся пар.

На какой-то момент его захлестнула горечь. Почему должно было так случиться, что именно *его* корабль оказался тем самым, у которого на полпути произошла авария главного реактора? Почему должно было случиться так, что ужасающая тяжесть поисков планеты, подходящей для группы людей, которых он никогда раньше не видел, падет именно на *его* плечи? Он почувствовал, что готов потрясать кулаком, отправляя проклятия Богу, ― но не сделал этого. Это был бы всего лишь театральный жест, лишенный какого-либо истинного смысла. Потому что невозможно проклинать Бога без того, чтобы вначале принять Его, а за всю его бурную молодую жизнь единственным божеством, в которое Рестон хоть когда-то верил, был обгоняющий свет полет, позволявший перескакивать от звезды к звезде.

Вскоре он отвернулся и спустился с холма. Отыскав пустой угол в наскоро сделанном убежище, раскинул одеяло и приготовился провести первую унылую ночь.

Утром он оказал медицинскую помощь единственному пострадавшему при вынужденном приземлении. Затем, еле передвигаясь на отяжелевших ногах, переселенцы начали свою новую жизнь.

Всю эту зиму Рестон был занят тяжелой работой. С Земли была доставлена настоящая деревня, и теперь она была воссоздана в небольшой окруженной горами долине. Река, бежавшая через долину, решала, на первое время, проблему воды, хотя рубка прорубей в ее льду была опасной и тяжелой утренней работой; и расположенный неподалеку лес давал достаточно дерева для топки, пока не отыскано более подходящее топливо, хотя рубка дров, укладывание их в вязанки и перетаскивание вязанок в деревню на грубых санях была как раз такой задачей, к которой не рвался никто из мужчин. Ближе к весне случилась и эпидемия гриппа, но благодаря активности молодого врача, который, разумеется, входил как составная часть в структуру нового общества, все перенесли ее достаточно легко.

После весенних дождей был посеян первый хлеб. Почва в *Нова Полска* оказалась плодородным черным суглинком, что было приятным обстоятельством для Рестона, который потратил всю энергию своего корабля буквально до капли, чтобы отыскать эту планету. Несомненно, что она уже была заселена: следы кочевой жизни местных аборигенов были легко различимы в разных частях долины. В первый момент Рестон возлагал на них некоторые надежды, пока несколько коренных жителей не заявились однажды утром в деревню, широко улыбаясь своими ртами и выписывая вычурные пируэты многочисленными ногами.

Но по крайней мере, они были дружественно настроены, и, как выяснилось позже, очень полезны, располагаясь по соседству.

В первую весну он помогал в посевных работах. Это было, когда он начал осознавать, что является чем-то меньшим, чем простая составная часть новой цивилизации. Много раз он замечал, что работает в одиночку, в то время как переселенцы работали группами по двое и по трое. Он не мог допустить мысли, что его избегали. И несколько раз замечал, как другие работающие поглядывали на него с несомненным неодобрением в глазах. В таких случаях он просто пожимал плечами. Они могли осуждать его сколько им было угодно, но нравилось ему или нет, они были связаны с ним.

Он пробездельничал все лето, ловя рыбу и охотясь у идиллических подножий холмов, зачастую ночуя прямо на опушке леса, под звездами. Очень часто почти половину летней ночи он лежал в раздумьях... раздумывая о множестве вещей: о сладостном вкусе земного воздуха после быстрого бега, о сверкающих земных городах, раскинувшихся словно гигантские игровые автоматы, только и ожидающие, что кто-то вот-вот сыграет с ними, о ярких огнях, изящных ножках и прохладном вине, налитом в высокие радужные бокалы; но больше всего он думал о женах своих соседей.

Осенью он помогал на жатве. Способность аборигенов к сельскохозяйственным работам была все еще неизученным фактором, и потому никак не использовалась. И вновь он видел осуждение в глазах переселенцев. Он никак не мог понять этого. Если он вообще понимал образ мыслей крестьянина, то эти люди должны были бы одобрить его стремление к работе, не осуждая его. Но он лишь в очередной раз пожал плечами. Они могли убираться к черту, поскольку он устал от этой самоуверенной богобоязненной толпы.

Жатва была обильной. Для переселенцев, привычных к скудным урожаям на землях Старой Родины, это было невероятным. Рестон слышал, как они говорили о роскошной *капусте,* об удивительно большой *картошке* и о золотой *пшенице.* К тому времени он уже был способен понимать большую часть того, о чем они говорили, и даже иногда заставлял себя понимать, хотя нескладные «*чзс»* и «*шзс»* все еще были трудноваты для него.

Но язык был далеко не главной из его проблем следующей зимой.

Как следствие того отношения, которое переселенцы выражали к нему во время полевых работ, Рестон предчувствовал вынужденную зимнюю изоляцию. Но, однако, этого не случилось. Едва ли выпадал вечер, когда его не приглашали бы то к Андрулевичам, то к Пизикевичам или к Садовским, чтобы провести вечер за вкусной хорошо приправленной едой и за разговорами о наиболее важных событиях в общине: о кормах для прибавившегося поголовья скота, о недостатках единственного в деревне генератора, о месте, намечаемом для строительства церкви. Однако все то время, пока он ел и вел с ними разговоры, он осознавал затаенную тревогу, какую-то неестественную формальность, звучавшие в их речи. Все происходило так, как будто они не могли расслабиться в его присутствии, не могли быть самими собой.

Постепенно, по мере того, как зима вступала в свои права, он все чаще и чаще оставался дома, предаваясь грустным размышлениям в своей холостяцкой кухне и рано укладываясь в свою холостяцкую постель, беспокойно мечась в наполненной одиночеством темноте, в то время как ветер резвился вокруг дома и заметал снег, рассыпающийся по карнизам крыши.

В некотором смысле, серьезнейшую проблему представляли дети. Они начали появляться в конце этой второй зимы. К весне их была целая куча.

В голове Рестона жила одна надежда, и эта надежда была единственным, что не давало его одиночеству обернуться в горечь: надежда на то, что его SOS был пойман, и что корабль-спасатель был уже направлен к тем координатам, которые он рассылал к звездам во время тех напряженных минут, что предшествовали падению на планету. До некоторой степени, это была отчаянная надежда, потому что если его SOS не пойман, то пройдет по меньшей мере около девяноста лет, прежде чем радиосигнал с этими координатами достигнет ближайшей населенной планеты, а девяносто лет, даже когда вы находитесь в возрасте двадцати одного года и верите, что с вероятностью пятьдесят процентов будете жить вечно, было не очень-то приятной перспективой, за которую стоило бороться.

По мере того как тянулись эти долгие унылые дни, Рестон начал читать. Кроме этого, ему совершенно нечего было делать. В конце концов он достиг того состояния, когда больше не мог посещать цветущие семьи и слушать, как они горланят во всю мощь молодых легких; или терпеть жалостливый обряд крещения, где отец, путая последовательности ритуала, смущенный, чем-то униженный и слегка напуганный, брызгал неловкими руками воду на сморщенное лицо новорожденного младенца.

Все доступные ему книги были, разумеется, на польском, и большинство из них, как было принято у крестьян, затрагивали религиозные темы. Добрых восемьдесят процентов книг библиотеки составляли идентичные экземпляры все той же самой Польской Библии, и в конце концов, окончательно раздраженный ее неизбежным предложением всякий раз, когда он спрашивал что-нибудь почитать у своих соседей, Рестон одолжил один из экземпляров, и начал просматривать его на собственный манер. К тому времени он мог легко читать по-польски и даже бегло говорить, куда с большей выразительностью и чистотой, чем могли делать это сами переселенцы.

Он нашел, что Ветхий Завет слишком наивен. Книга Бытия удивила его, и однажды, чтобы скоротать унылый пасмурный вечер, а отчасти доказать самому себе, что он, не считаясь с собственным положением, все еще с высокомерием относится к религиозным догмам, он переписал ее таким образом, как, по его мнению, могли бы составить ее древние иудеи, имей они более зрелое понимание о вселенной. Поначалу он, пожалуй, даже испытывал гордость за свою новую версию, но после того, как перечитал ее несколько раз, пришел к заключению, что кроме тех аксиом, что Бог первой создал *не* Землю, и что количество созданных им звезд было гораздо больше, чем доверили Ему древние иудеи, в ней не было ничего особенного.

После прочтения Нового Завета он почувствовал умиротворение, и гораздо большее, чем ему приходилось испытывать за весьма долгое время. Но умиротворение его было кратковременным. Весна, своим приходом, разрушила его. В этот год цветы на лугах были необычайно красивы, а такого синего неба Рестон не видел даже на Земле. Когда закончился период дождей, он стал отправляться на многодневные прогулки к подножью гор, иногда прихватив с собой Библию, отдаваясь на волю мыслей в этих своеобразных зеленых храмах, доходя иногда до высоких белоснежных склонов гор и удивляясь, отчего не взбирается на них, а обходит или даже вовсе уходит куда-нибудь подальше от них, все время ощущая при этом в глубине души причину, по которой медлит.

Лето только еще начиналось, когда он, возвращаясь из одного такого путешествия, первый раз увидел Елену совершенно одну.

В эту, вторую зиму, опять случилась эпидемия гриппа, но она оказалась не столь легкой, как первая. Был и один смертельный случай.

Елена Купревич стала в *Нова Полска* первой вдовой.

Рестон почти бессознательно постоянно думал о ней почти с самых похорон, и часто размышлял о нравах новой цивилизации, и о том, какой по местным нормам промежуток времени должен пройти, прежде чем осиротевшая жена сможет взглянуть на другого мужчину без боязни стать изгоем общества.

Елена все еще носила черное, когда он подошел к ней на одной из лужаек, примыкавших к деревне. Но она была хороша, и черное очень шло к молочной белизне ее овального лица, было под стать глянцевому отблеску ее темных волос. Елена была красивой женщиной, Рестон и при других обстоятельствах, бывало, раз-другой поглядывал на нее.

Она собирала зелень и выпрямилась, когда увидела, что он приближается.

— Рада видеть вас, пан Рестон, — застенчиво сказала она.

Ее стремление соблюсти формальность в обращении немного смутило его, хотя и не должно было. Никто из переселенцев никогда не обращался к нему по имени. Он улыбнулся ей. Он пытался придать своей улыбке теплоту, но знал наперед, что она была холодной. Ведь столько лет прошло с тех пор, когда ему доводилось улыбаться хорошенькой девушке.

— И я рад видеть вас, пани Купревич.

Сначала они поговорили о погоде, затем об урожае, а после этого оказалось, что обсуждать больше было нечего, и Рестон проводил ее до деревни. Он задержался у ступеней ее крыльца, не желая уходить так сразу. — Елена, — неожиданно произнес он, — мне хотелось бы вновь увидеть вас.

— Отче же нет, *пан* Рестон. Вы более чем просто желанный гость в моем... Всю весну я ждала, что вы зайдете ко мне, но когда вы так и не пришли, я поняла, что это, вероятно, потому, что вы еще не настроились, что вы не были полностью уверены в необходимости этого посещения.

Он в замешательстве посмотрел на нее. Он никогда раньше не договаривался о встрече ни с одной из польских девушек, но вполне обоснованно полагал, что обычно они не отвечают в такой слишком формализованной манере или столь почтительным тоном.

— Я хочу сказать, — пояснил он, — что мне хотелось бы увидеть вас вновь, потому что... — здесь он сбился со слов, — потому что вы мне нравитесь, потому что вы так красивы, потому что... — И тут его голос затих, потому что он увидел выражение, появившееся на ее лице.

Затем он неподвижно с недоумением смотрел, как она повернулась и скрылась в доме. Хлопнула дверь, а он еще долго стоял там, тупо глядя на безмолвные филенки и маленькие занавешенные окна.

Вся чудовищность общественного проступка, только что совершенного им, поставила его в тупик. И несомненно, что общество, даже такое благочестиво набожное и богобоязненное, как то, в котором оказался он, не могло требовать, чтобы вдовы оставались вдовами навечно. Но даже при условии, что дело было именно в этом, выражение, появившееся на лице Елены, все равно оставалось необъяснимым. Рестон мог бы понять удивление, или даже шок...

Но не ужас.

Вдобавок ко всему, в глазах крестьян он был чем-то из ряда вон выходящим. Был каким-то нелепым неудачником, даже уродом. Но почему?

Он медленно шел к своему дому, пытаясь понять, пытаясь, может быть первый раз за все время, увидеть себя таким, каким видели его переселенцы. Он шел мимо церкви и слышал редкие постукивания плотников и столяров, наводивших последние штрихи в ее убранстве. Ему вдруг стало любопытно, почему они построили ее рядом с домом единственного в деревне неверующего.

На кухне он сварил кофе и уселся у окна. Отсюда он мог видеть предгорья, зеленые, покато поднимавшиеся вверх, а за ними девственные белоснежные вершины.

Он оторвал глаза от вершин и взглянул вниз, на свои руки. Это были худые, слабые руки, очень чувствительные, от долгих занятий управлением многочисленными сложными устройствами многих кораблей, руки пилота, несомненно, отличавшиеся от рук крестьянина, точно так же, как отличался и он сам, но, в основе своей, по сути, такие же, как и у них.

Так каким же он был для них?

Ответ был очень простым: они видели в нем пилота. Но почему такое его восприятие воздействовало на их отношение к нему так, что они никогда не могли расслабиться в его присутствии, даже никогда не могли проявить к нему ни тепла, ни товарищества, или хотя бы обиды и возмущения, которые проявляли по отношению друг к другу? В конце концов, пилот был лишь человеческим существом. И не было никакой заслуги Рестона в том, что он спас их от гонений, как не было его заслуги и в том, что *Нова Полска* стала настоящей реальностью

Неожиданно он вспомнил «Книгу Исхода». Он встал, с ощущением недоверия отыскал экземпляр Библии, который позаимствовал у соседей еще во время зимы, и с возрастающим ужасом начал перечитывать.

Он устало присел на небольшом уступе. Над ним бесконечным недостижимым навесом темнело небо.

Он посмотрел вниз, в долину, и увидел отдаленные мерцания слабых огней, которые символизировали теперь его судьбу. Но они символизировали и кое-что еще, нечто большее, чем просто судьбу: они символизировали своего рода тепло и надежность; они символизировали все человеческое, что было в *Нова Полска.* Сидя здесь на скальном уступе, в холоде горных вершин, он пришел к неизбежному осознанию, что ни один человек не может жить в одиночестве, и что его собственная тяга к переселенцам была так же велика, как и их к нему.

Затем он начал спускаться, делая это медленно, из-за усталости, а еще и потому, что от того неистовства, с которым он совершал подъем, у него были в кровь разодраны и разбиты руки. Было уже утро, когда он добрался до луговины, и солнце ярко сияло на кресте, поднимавшемся над церковью.

Рестон неожиданно отошел от окна и вернулся к своему креслу. Боль вызывали даже эти воспоминания о годах тяжких трудов.

Но в комнате было тепло и уютно, а его кресло было глубоким и удобным, и постепенно боль отступила. Теперь очень скоро, он хорошо знал это, один из мальчишек перебежит глубокий снег, неся поднос со свадебными угощениями, и будет стук у его дверей, и наступит следующая минута, из тех самых, ради которых он жил и которые, складываясь вместе долгие годы, сделали его капитуляцию перед судьбой более терпимой.

Его капитуляция перед судьбой произошла не сразу по возвращении в деревню. Она проходила едва уловимо в течение последующих лет. И была естественным результатом множества самых разных жизненных переломов, происшествий и неожиданных моментов. Он попытался припомнить минуту, когда впервые, четко и стремительно, занял нишу, которую обстоятельства и общество предопределили ему. Несомненно, это, должно быть, произошло в ту четвертую зиму, когда умерла маленькая дочь Андрулевичей.

Был унылый зимний день, темное небо, промерзшая земля, все еще непокрытая снегом. Рестон проследовал за небольшой процессией вверх по холму, который находился рядом с кладбищем, и стоял там рядом с мрачными переселенцами у края маленькой могилы. Был деревянный гроб, над которым стоял отец ребенка, неловко сжимая руками Библию, путая условности ритуала, стараясь разборчиво произносить слова, но вместо этого произнося их судорожно, прерывисто, грубым крестьянским голосом. В конце концов, Рестон, будучи больше не в силах переносить это, прошел по мерзлой земле туда, где стоял убитый горем человек, и взял из его рук Библию. Затем он выпрямился под холодным суровым небом, высокий и сильный, и голос его был так же чист, как холодный зимний воздух, однако, как ни странно, так же мягок, как день в середине лета, наполнен обещанием грядущей весны и уверенностью в том, что все зимы должны когда-то пройти.

— *Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек...*

Наконец-то долгожданный стук. Рестон встал с кресла и прошел к двери. Странным образом эти простые богобоязненные люди проявляли свое уважение к астронавту, подумал он. Особенно к астронавту, заслуживающему особого внимания, который спас их от невзгод и гонений и привел на землю обетованную; который бесстрастно управлял огромным кораблем одними лишь пальцами своих рук; который, во время Исхода, совершил подвиги, по сравнению с которыми, раздвижение Моисеем вод Красного Моря казалось сущим пустяком; и который, после того как обещанная земля была достигнута, совершал длительные странствия по Пустыне ради общения с Богом, иногда нося с собой и саму священную Книгу.

Но самого этого отношения было бы недостаточно, чтобы вызвать тот социальный нажим, который и сформировал его образ жизни, ничего этого не было бы без катализатора, которым стала единственная в его жизни авария с падением на чужую планету. Тем не менее, Рестон смог оценить иронию в самом том факте, что эта единственная авария наверняка вызывала и появление наиболее существенной опоры в структуре нового общества, самого польского священника.

Он открыл дверь и внимательно вгляделся в окружающий снег. Маленький Петр Пизикевич уже стоял на ступенях крыльца, держа в руках большое блюдо. — Добрый вечер, Отец. Я принес вам немного *колбасы,* немного *колобков,* немного *пирогов,* а еще *колбаски* и...

Отец Рестон распахнул дверь пошире. Разумеется, положение священника имело свои недостатки... сложно поддерживать мир в моногамном обществе, которое отказывается поддерживать равновесие полов, с одной стороны, и, с другой, не позволяет слишком близкие отношения с аборигенами. Но это положение имело также и свои достоинства. Например, поскольку Рестон фактически не мог иметь собственных детей, у него было великое множество их в самом широком смысле этого слова, и чего плохого могло быть в старческом притворстве по поводу мужской потенции, которой обстоятельства и общество лишили его?

— Войди, *сын мой*, — сказал он.